

ЛОКАРМЕН

РАСКРЕЗЫ

Лазарь Кармен

Река вскрылась

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0014
III.....	.0022
IV.....	.0030
V.....	.0036
VI.....	.0043

Лазарь Кармен Река вскрылась

Наконец-то! Он – в Петербурге.

Прошлой неделей только он лежал в Женеве, в больнице, больной, задыхающийся от кашля. В большие окна, позолоченные ярким солнцем, глядели живописные горы, а сейчас он здесь, на Невском...

Погода отвратительная.

Небо от края до края задернуто грязной половой тряпкой и лениво сыплет на голову крупный мокрый снег, который под ногами тает и разводит лужи.

Все покрыто влагой – улицы, дома, фонари, извозчики, пешеходы, и во всех магазинах светятся бледные огни.

Петербургская погода. Как хорошо было в Швейцарии!

Голубое небо, ослепительное солнце, зеленые долины, горы, озера, птицы, букет свежих альпийских роз на ночном столике.

А как его упрашивал профессор остаться еще хотя бы на два дня!

– Noch ein Paar Tage!

Но Иван не соглашался.

Довольно он сидел сложа руки! Стыдно наслаждаться швейцарскими идиллиями! На родине идет освободительное движение, все поднялось, все встало, все отряхнулись от многовековой спячки, все фабричные рабочие, приказчики, ремесленники, гимназисты, крестьяне, и сейчас там необходимы силы.

Профессор – добрый эльзасец с большой лысиной и почтенной бородой, глядя на его восторженное лицо, сказал со вздохом:

– Юный, честный друг. Я понимаю ваше душевное состояние. Верьте – будь я моложе, я полетел бы вместе с вами. Нет ничего приятнее, как умереть за свободу... Поезжайте с богом.

И вот он здесь! После двухлетнего отсутствия.

Мокрый снег тает у него на лице, светлых усах и короткой бородке, заползает ему на шею, сырость добирается до его больных легких, но он не замечает всего этого.

Он счастлив.

Но где все это, о чем передавалось с таким волнением из уст в уста за границей, – необыкновенный подъем в массе, где она, эта

бастующая и протестующая публика?!

В слякоти, в тумане, по обеим сторонам Невского, в конце которого чуть-чуть наметен водянистыми красками могучий Исаакий, спокойно двигались петербуржцы.

Знакомые лица!

Вот плетется бритый и засушенный чинуш; прошел с олимпийским величием на упитанном лице актер; широко шагает курсистка в плоской черной шляпе, гладком саке, с очками на коротком носу и с пачкой злободневных новеньких брошюр «Молота» и «Буревестника» – «Речь Бебеля», «История революции во Франции» и проч. под мышкой; прозвенел шпорами, кокетничая аршинными рыжеватыми усами, жандармский ротмистр; прошмыгнула с картонкой, стреляя во все стороны глазками, как из пулемета, модисточка из Пассажа; проковылял безработный посадский – типичный медведь из костромских лесов.

И на мостовой как будто знакомая картина.

Трясутся и подпрыгивают на рельсах вереницы вагонов, набитых людьми, как мини-

стерский портфель – исходящими и входящими; кареты, сбившись в кучу, стаи дрожжек с лоснящимися верхами и передниками; неслышно скользит дворцовый экипаж с какой-то старой фрейлиной или статс-дамой и лакеем на козлах в кардинальской мантии и треуголке; мчится рысак с блестящим гвардейским офицером, которому приветливо и по-королевски кивает головой из своего ландо шикарная Маргарита Готье; шагает узенькой колонной под музыку полурота матросов флотского экипажа...

Сильное разочарование охватило Ивана.

«Неужели там, за границей, они обманывались?! Неужели все сведения о движении, захватившем будто бы весь русский пролетариат, были преувеличены?!»

Подъезжая к Петербургу, он думал, что встретит на улицах армии рабочего люда, повышенное настроение...

Мимо него пронеслись вихрем, один за другим, несколько мальчишек со свежими номерами вечерней газеты в руках и орали:

– Только что получены!.. Свежие телеграммы!.. Еще забастовки...

Он остановил одного, купил газету и с жадностью набросился на нее.

– Ага!

Он глотал телеграммы.

Забастовка тут, там!

– Ого-го!

Забастовали железнодорожные рабочие также и в Одессе, Екатеринославе, Курске, Бердянске.

Везде остановлено движение!

Везде сходки, митинги!

А вот забастовал Путиловский завод, судостроительный и патронный...

Забастовка, как лесной пожар, перебрасывается с одного района на другой, охватывает все губернии...

Так это только кажущееся спокойствие!..

Он оставил газету и снова окинул улицу острым взглядом.

Иван открыл в этой сутолоке, сером, липком тумане много интересного. И как он раньше не замечал?!

Петербуржцы больше не казались ему сонными и индифферентными. Все носились с вечерними газетами и в воздухе только и

Слышалось слово:

– Забастовка!

У него явилось желание прокатиться по Невскому и присмотреться, сильно ли изменился Петербург за три года.

Извозчик по его просьбе откинул верх дрожек, и он наслаждался видом родного города. В этом городе он родился, получил свое воспитание и больно поплатился за свои юные порывы.

А вот Аничков мост! Благодаря тающему снегу статуи его казались покрытыми лаком и рельефно выделялись своими тонкими контурами на черно-сером фоне неба.

А вот Гостиный двор, Пассаж!..

Иван остановил дрожки и заскочил к «Доминику» – старому, патриархальному «Доминику».

Обстановка здесь была та же, что и три года и пять лет тому назад, во времена его счастливого студенчества. Да и публика та же.

Тот же старый чиновник в николаевской шинели с лицом мумии и одним зубом, медленно прожевывающий, как жвачку, аромат-

ную кулебяку, тот же жрец искусства в потертом цилиндре...

Он закусил, расплатился и собрался уходить, как навстречу ему подвернулся Чижевич – старый товарищ по гимназии, студент.

Он с трудом узнал Чижевича.

Когда-то розовый мальчик, с прелестными завитушками, приводившими в восторг гимназисток и институток, Чижевич теперь был похож на старика. Он сильно оброс, масса седины проглядывала в его поредевшей черной шевелюре и бороде, и морщины покрывали его лицо густой сетью.

– Да тебя не узнать! – воскликнул Иван.

Чижевич махнул рукой и спросил:

– Ты где же пропадад так долго?

– В Швейцарии.

– А у нас тут, батенька, дела аховые!

– Слышал! Я поэтому и приехал.

– И хорошо сделал. Был на митинге?

– Нет! Я ведь только сегодня утром.

– Как утром?... По какой дороге?

– По Варшавской.

Чижевич в изумлении высоко поднял брови.

– Разве она не забастовала?

– Нет, как видно!

– Должна забастовать сегодня, непременно. Все дороги забастовали.

Перебрасываясь вполголоса с Иваном фразами, Чижевич наскоро глотал куски горячей кулебяки.

– Ну, брат, прощай! Некогда!

– Да что ты!

– Горим!..

– Где мы с тобой встретимся?

– На митинге! А оттуда ко мне спать!.. У тебя ведь квартиры еще нет?!

– Нет!

– Ну вот! – И он исчез.

Иван оставил Доминика и пошел бродить по Невскому.

Он незаметно очутился у Николаевского вокзала, и вокзал поразил его своей безжизненностью.

Всегда пылающий глаз его на башне был закрыт и чернел наподобие орбиты черепа; широкие ворота и двери были заколочены, и к отсыревшему фасаду жались продрогшие пассажиры – третьеклассники с узлами и

мешками...

Становилось поздно.

Иван крикнул извозчика.

– Васильевский остров, к университету.

Убаюкиваемый мерным покачиванием дροжек и закрытый со всех сторон от мелкого пронизывающего дождя, Иван обдумывал свою речь.

Он взойдет на кафедру...

Да неужели с русским народом возможно говорить с кафедры, с трибуны?... Неужели не надо больше собираться для обсуждения своих дел в темном лесу и горах?...

Итак, он взойдет на кафедру и скажет...

Что он скажет?

«Я только что вернулся из Швейцарии! Я рвался сюда, к вам, чтобы стать в ваши ряды! Удивительные дела совершаются теперь на Руси! Вскрываются реки, скованные льдом! Трещит и вздымается лед! И вот-вот хлынут веселые весенние воды! И ни злое воронье, ни враждебные вихри и вьюги не скуют их снова! Товарищи!...»

Он обдумывал свою речь и улыбался. Речь его должна была вызвать восторг, потрясти всю аудиторию и зажечь сердца...

А она непременно должна потрясти всех.

Недаром его считали одним из выдающихся ораторов...

Дрожки с грохотом вкатились на Дворцовый мост.

Под ним чернела в раме из огней холодная вода. Из-под моста с шипением вынырнул катерок с зеленым огоньком.

Над водой из черной массы поднимался блестящий шпиль Петропавловской крепости.

Внезапно сорвавшийся ветер донес до него обрывки разбитой знакомой музыки курантов – «Коль славен!..».

«Почему их не уберут? – подумал Иван. – Скоро-скоро их уберут! Все старое, ненужное! Живая волна смоеет гниль, труху, и зазвучат новые часы с новым, нерасстроенным механизмом!..»

А вот недалеко университет! Его, Ивана, колыбель, *aima mater!*

По обеим сторонам, прижимаясь к барьерам моста, текли вперед две рокочущие реки – студенты, рабочие, молодые девушки.

Чем ближе он подвигался к университету, тем гуще становились эти реки.

И вся эта масса стремилась в университет, освещенный сверху донизу. Он пылал в тумане, как ярко разведенный костер.

В окнах его было видно много голов.

Иван подъехал к главным дверям университета, отпустил извозчика и, с трудом пробиваясь сквозь непроницаемую стену из людей, вошел в прихожую.

В прихожей бурлил поток и гигантской волной взмывал кверху по широкой лестнице, разбивался на десятки новых волн и разбегался в разные стороны по залам, коридорам, и стены университета дрожали от гула и шума.

В воздухе висели восклицания:

– Ради бога, пропустите!

– Не напирайте так, задушите!

– Товарищи железнодорожники, за мной! – звенел голос молодого безусого студента.

Человек шестьдесят бородатых рабочих, в пальто, с зажатыми в руках барашковыми шапками и фуражками, с всклокоченными волосами, бросились вслед за ним.

– Товарищи приказчики, за мной! – командовал другой студент.

Обилье рабочих в массе молодежи приятно поразило и обрадовало Ивана.

Он обратил внимание на серию плакатиков, прибитых к стене. На них было выведено карандашом:

«Приказчики – в такой-то аудитории».

«Учащиеся – в таком-то зале».

«Социал-демократы – в таком-то зале».

«Анархисты»...

– О-го-го! Здорово, – воскликнул Иван и засмеялся.

Ему очень хотелось послушать русских Равашолей и Луккерио.

Но как ему ни хотелось послушать их, он предпочел им железнодорожников.

Железнодорожники – герои дня.

Приостановив, как по мановению жезла, все движение, они перерезали этим главную артерию страны и открыли глаза всем на один из могучих рычагов революции.

Они заявили всем с усмешкой:

«Глядите! Вы вот бились, бились, изыскивали всякие средства! А про нас забыли!.. Проглядели главную силу...»

Сила их уже сказывалась.

Правительство стало терять голову.

Еще несколько дней – и по всей России пронесется голод. Он грозил не только подвалам и мансардам, но и дворцам и хоромам.

Грозил цингой, тифом.

Обеспокоенное правительство спешно скупало провизию для армии. То же делало городское общественное управление для больниц и богаделен.

На сей раз тяжелая перчатка была брошена правительству, и эту перчатку бросили главным образом железнодорожники...

– Где заседают железнодорожники, товарищи? – только и слышались расспросы.

Ивану с большим трудом удалось взобраться на гребень трехсаженной волны, затопившей лестницу, и протиснуться в актовый зал.

Громадный зал весь, от угла до угла, был заполнен публикой.

Масса девиц и юношей стояли, вытянувшись, на подоконниках высоких окон, и казалось, они стоят на головах.

На кафедре, выступавшей среди этого живого моря наподобие подводного островка и

как бы напором воды вынесенной к стене, стояла кучка людей: несколько девиц, студент, трое молодых рабочих, – и из середины ее вылетало бурное пламя.

Кто-то говорил страстно, горячо, – о либералах, которым не следует доверяться, о необходимости дальнейшей забастовки, о драконе, который корчится в агонии...

Говоривший был не студент и не профессиональный оратор-интеллигент, а простой рабочий-юноша.

Он был худощав, из-за потертого пиджачка его смело выглядывала нижняя бесцветная сорочка, застегнутая на груди белой стеклянной пуговицей.

Острый угол его высохшего, но одухотворенного лица от яркого электрического света был красен, как медь, и все движения его – страстны и порывисты.

Он не говорил, а с размаху бил по наковальне пудовым молотом, или, вернее, бросал в толпу тяжелые камни.

Иван был поражен.

Он перевидал сотни ораторов во всех государствах, слышал Жореса, Бебеля, Плеханова,

пламеннейших итальянских ораторов, которых, как казалось, породил Везувий; он лично был прекрасным оратором, но такого он слышал впервые.

Устами этого титана-юноши говорила и взывала к правде, совести и справедливости нищета, таящаяся по чердакам, подвалам и хатам, мрак и холод, – и он являлся лучшим выразителем их.

Он выносил наружу все слезы, все язвы, все горе, накопившееся веками, и требовал возмездия, требовал суда.

Голос его, громкий, не устающий, вырывался точно из глубочайших недр земли.

«Кто он?»

Его вскормила и вспоила сухой грудью нужда, и теперь, когда все поднялось и зашевелилось, она выслала его на трибуну.

Сотни тысяч рук обездоленных матерей выставили его своим защитником и благословили его на борьбу.

– Товарищи, – гремел он и протыкал раскаленный воздух, точно невидимого врага, крепко сжатым кулаком, – заявим, что нам не нужна эта Дума! Заявим, что мы не признаем

ее представителей! Представители ее – самозванцы, потому что мы, народ, не уполномочивали их! Товарищи! Настало время!..

По залу заходили волны.

Оратор завладел публикой; она срослась с ним, и, когда он кончил, она разразилась бешеным ураганом.

На кафедре среди социал-демократов произошло движение.

Оратор замешался в их кучку, как карта, и его место занял другой – тоже юноша-рабочий.

И с кафедры полилась новая речь, такая же сильная, как первая, хотя и менее страстная.

Публика, находившаяся еще под обаянием первой огненной речи, слушала его несколько рассеянно, но скоро свыклась с ним и срослась, как и с первым.

Иван не верил своим глазам.

Да неужели он в России и кругом все рабочие, русские рабочие?

Оглядывая публику, Иван заметил много молодых и пожилых женщин.

Рабочие пришли не одни – вместе с женами и дочерьми.

Рядом с ним стояла маленькая женщина в черном пальто, с мужниного, вероятно, плеча, с желтым, болезненным лицом и блестящими, глубоко запрятанными глазами. Голо-

ва ее была обмотана черным платком.

Вытянувшись на цыпочках и полуоткрыв рот, она жадно ловила каждое слово.

Когда он коснулся вампиров, высасывающих кровь и соки, болезненное лицо ее передернулось и глаза блеснули злым блеском.

Она вытянула высоко над головой руки, захлопала в ладоши и крикнула на весь зал:

– Верно!

Иван открывал в толпе железнодорожников то белый передник приказчика «сливочной» или лабаза, то пестрый галстук и щегольские воротнички приказчика-гостинодворца, то погон вольноопределяющегося, то широкую спину крючника.

Вид этого моря людей опьянил его, и желание говорить захватило его с еще большей страстностью.

Он никогда не говорил перед такой громадной аудиторией.

Ему безумно хотелось встать на эту ярко освещенную кафедру, двинуть сверху живые волны и сказать, что он, русский эмигрант, переживает.

Он хотел провести параллель между

недавним прошлым и настоящим. Хотел приветствовать рабочих, впервые свободно собравшихся для обсуждения своих дел, от имени сотен эмигрантов-товарищей, болеющих за свою родину, и поклониться им от них. Он стал протискиваться к кафедре.

Очутившись у подножья ее, он позвал тихо студента, стоявшего близко к оратору:

– Товарищ!..

Тот нагнулся к нему.

– Я хочу сказать собранию два слова.

– Вам придется подождать очереди.

– Вот как?! Не уступит ли кто свою очередь? – спросил он.

– Нет! – ответил тот холодно и просто. – Тут масса рабочих, желающих говорить. Надо дать им высказаться! Согласитесь!..

– Да-да-да! – согласился Иван.

– Вы можете записаться. Хотите?

– Пожалуй!.. А который я буду?

– Тридцать третий.

Иван подумал немного и сказал:

– Запишите.

Студент спросил его фамилию и записал.

Иван оставил кафедру, замешался в бли-

жайшие ряды рабочих и стал слушать оратора.

Каждые четверть и полчаса кучка на кафедре выдвигала нового оратора. И все ораторы были рабочие.

Иван поражался их речам, – все говорили умно, толково, образно, умело наигрывая на струнах родственной им аудитории и обнаруживая политическую зрелость, – поражался их силе.

Все требовали политической свободы.

И для достижения этой свободы они призывали к политической забастовке, всеобщей стачке.

Иван бешено аплодировал всем ораторам и вслух поощрял их:

– Так! Так! Совершенно верно, товарищ!

– Все без исключения, весь пролетариат должен сплотиться и устроить всеобщую забастовку, и тогда победа за нами обеспечена, – подчеркивали ораторы.

Иван был ярким сторонником всеобщей забастовки. Он верил в ее чудодейственную силу.

Сейчас говорил шестой по счету оратор.

Очередь Ивана должна была наступить еще не скоро, и он решил заглянуть в остальные залы.

Он обошел десяток аудиторий, побывал у судостроительных и других рабочих, ювелиров, приказчиков, фармацевтов.

Побывал и на митинге учащихся средне-учебных заведений.

Тут были гимназисты и гимназистки, реалисты, ученики коммерческого училища.

Плотным кольцом они окружили кафедру и со вниманием слушали оратора.

Оратор-гимназист, тоненький, малокровный, с редкими волосами на голове и еле намеченными усиками, читал резолюцию:

– «Мы, учащиеся среднеучебных заведений, собравшись на митинге, выражаем свое сочувствие современному освободительному движению и объявляем забастовку всех учащихся».

Иван отсюда заглянул к социал-революционерам, а потом – на университетский двор.

Под совершенно темным небом притаилась неподвижная, тяжелая и черная масса народу.

Она не вместились в университет.

Так малы берега во время разлива многоводной реки.

Река ищет выхода, рвет, мечет, разливается и затопляет луга.

Лиц нельзя было разобрать, нельзя было разобрать и лица оратора.

Он стоял на штабеле дров, и голос его гремел сверху, как из-за темных туч.

– Это говорит вам рабочий! Товарищи!

«Опять рабочий, – подумал Иван, – положительно интеллигенции теперь нечего делать. Пора, кажется, ей на покой. Она вспахала землю, заложила семя, полила ее кровью и слезами, удобрила горами трупов и костей. Семя дало всходы...»

Открытие это радовало его и огорчало.

В нем теперь не нуждались.

Когда-то он был на собраниях первым, а сейчас тридцать третьим.

«Фу, как это мелко! Так и должно быть! Пролетариат вырос!»

Прослушав оратора, он возвратился к железнодорожникам.

В зале было теснее прежнего. Люди зады-

хались, обливались потом.

Какой-то оратор теперь критиковал ответ министра путей сообщения депутатам.

Сейчас говорил девятый оратор.

Он чувствовал себя теперь еще более лишним и маленьким-маленьким среди этих пламенных ораторов-молотобойцев из народа, в потертых пиджаках и со впалыми щеками от вечного недоедания.

Да если бы и дошла до него очередь, что он сказал бы!..

Все, что он ни сказал бы, было бы бледно...

Возле него вдруг очутился Чижевич – весь мокрый, растрепанный, с прилипшим к шее воротничком косоворотки.

– Ну, каково?! Слышал?! – И лукаво подмигнул глазом на публику. – Не ожидал?! Послушай! Едем на женские курсы! Сегодня повсюду митинги – в консерватории, у лестафтичек, у технологов. Едем, что ли?

– Конечно!

Они оставили университет, кликнули извозчика и поехали.

Чижевич говорил без умолку:

– Слышал, как министр-то путей сообще-

ния растерялся?! Депутаты ему резолюцию насчет политической свободы представили. Да, ха-ха! – И он залился веселым смехом. – А сегодня, говорят, было заседание командиров всех полков в городе под председательством генерала Трепова. Город разделен на четыре военных округа, и приказано патронов не жалеть... Судороги, братец ты мой!..

IV

Иван три дня жил в каком-то угаре. Он не пропускал ни одного митинга и несколько раз говорил с кафедры.

Но вот была объявлена конституция.

Это было вечером.

На Невском кричали «ура», поздравляли друг друга знакомые и незнакомые, некоторые роняли слезы.

Иван поехал к Чижевичу.

«Итак, – думал он дорогой, – первая победа. Победа хотя и не бог весть какая, но все же... Свобода собраний, союзов, неприкосновенность личности. Завтра все российские тюрьмы разожмут свои лапы и выпустят тысячи товарищей, положивших душу и проливших массу крови за свободу. Расступятся мрачные сибирские тайги, падут затворы с Петропавловки и Шлиссельбурга!..»

Мимо него галопом промчались несколько казаков.

– Ура! – крикнул он им в экстазе.

Они привстали на стременах, повернули к нему свои бронзовые лица, и один, как ему

показалось, сорвал с головы круглую шапку с ярко-красным околышем, напитанную кровью, и потряс ею в виде приветствия в воздухе.

– Слышал, брат? Свобода народу дана, – обратился Иван Федорович к извозчику.

Тот, здоровенный псковичанин, повернул свое широкое лицо, обросшее копной рыжих волос, блеснул веселее своими большими темно-синими глазами и показал белые зубы.

– Слышал, все говорят, барин, – ответил он и разудало, сплеча хлестнул лошадку.

Чижевич жил далеко, на Выборгской стороне, и, пока лошадка трусила, Иван по привычке предавался грезам.

В только что свершившемся акте он ясно видел мощь русского пролетариата.

Как он вырос! Как он силен!

Захотел – и вся страна в один момент остановилась, замерла.

Могучая сила этой забастовки вполне определилась сейчас.

А что, если бы вдруг поднялся пролетариат всего мира, соединился и объявил всеобщую забастовку?

Петербург, Москва, Вена, Берлин, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго.

Все погружены во мрак.

Везде потушено электричество, поезда не ходят, стоят пароходы, верфи, угольные и алмазные копи, мукомольные мельницы, фабрики, заводы, перерезаны телеграфные и телефонные провода, подводные кабели, потушены маяки – мрак, холод, голод, мертвая тишина.

Буржуазия и правительства мечутся, растерянные и беспомощные, сдают поспешно форт за фортом, и все, все переходит в руки пролетариата...

У Чижевича в небольшой комнатке было светло илюдно.

Тут был налицо почти весь комитет – вся компания.

За одним столом сидела Наташа – сестра Чижевича, молоденькая курсистка, Нина Заречная и Ольга Лебедева – тоже курсистки.

Колени их и часть стола заливала алая, как кровь, материя.

Они шили знамя.

Компания пела хором:

*Вихри враждебные веют над нами,
Грозные силы нас тайно гнетут!
В бой роковой мы вступаем с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут!*

Чистое сопрано Наташи выделялось среди хора наподобие серебряного колокольчика.

Технолог Прохоров аккомпанировал на гитаре. Он сидел на продранном диване, заложив ногу за ногу.

Иван был встречен восторженно.

Компания энергично готовилась к завтрашнему дню.

Она решила ознаменовать победу грандиозным шествием со знаменами, в котором должны были участвовать все учащиеся и забастовавшие рабочие.

Ивана немедля засадили за работу.

Наташа сунула ему в руку короткий шест-древко, красное готовое знамя, гвозди и молоток и велела прикрепить знамя.

Компания, работая, пела и говорила без умолку.

Каждый пункт «Манифеста» обсуждали в

сотый раз, говорили об амнистии, вспоминали товарищей, томящихся по тюрьмам и в Сибири.

Семенов – технолог, громадный детина – важно похаживал по комнате, крутил ус и басил:

– Гм-м!.. Наша взяла.

Он повернулся к Прохорову и крикнул ему:

– Жарь «Нагаечку!» Только, чур, не жалеть патронов!

Тот «зажарил», и компания хором подхватила:

*Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя!
Пошла гулять по спинушкам
восьмого февраля!..*

– Ради бога! – раздался неожиданно визгливый голос.

Все повернули головы и увидели в дверях хозяйку Чижевича – офицерскую вдову.

Глаза ее чуть на лоб не лезли от испуга, а руки в коротких рукавах были сложены как бы для молитвы и тряслись.

– В чем дело, прелестная Евлампия Самсо-

новна?! – спросил ее Семенов.

– Ради бога! – взмолилась она. – Не надо!.. Не ровен час!.. Дворник!.. Полиция!..

– Ну что вы! Ведь слышали: свобода! Не угодно ли оправдательный документ?! – И Семенов сунул ей под самый нос «Манифест».

Офицерша искоса посмотрела на «Манифест» и недоверчиво процедила:

– Мало ли... «Манифест»... Сегодня свобода, а завтра... пожалуйста ручку – и в участок... Знаете, как у «нас».

Компания так и покатилась со смеху, а Семенов, хлопнув ее по плечу, крикнул:

– Здорово!.. Я то же самое думаю... Только не надо вешать носа! Товарищи! Итак!

Он расправил руки, как капельмейстер, топнул ногой и снова затянул:

*Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя!
Пошла гулять по спинушкам
восьмого февраля!..*

Компания подхватила.

Офицерша криво улыбнулась, заткнула уши и скрылась в коридоре...

Иван с Наташей оставили квартиру Чижевича в три часа ночи.

На улице, несмотря на поздний час, было сильное оживление.

Петербуржцам не спалось и не сиделось дома.

Везде, на каждом шагу, только и слышно было: «Свобода, свобода, свобода!»

Иван и Наташа колесили по всем улицам, заговаривали с полицейскими и у «Медведя», вместе с кучкой каких-то людей, качали казацкого офицера.

– Вы теперь наши братья, – приговаривала публика.

– Да-да, – отвечал казак.

Они колесили долго. Иван все время фантазировал, рисовал удивительные перспективы, ожидающие Россию.

Нева под мостом кипела, надувалась и напрягала все силы, чтобы разнести теснящие ее гранитные стены.

Полюбовавшись ею и бросив продолжительный взгляд на Петропавловку, они повер-

нули домой.

Наутро солнце, прятавшееся до сих пор в тумане и дождях, всплыло над городом.

На фасадах домов и заборах рельефно выделялись громадные белые плакаты с объявлением конституции.

– Значит, свобода – не мистификация, – проговорил радостно Иван.

Он кликнул извозчика и велел везти себя к университету.

Извозчик дернул вожжи, и Ивану показалось, что он поплыл по мягкой реке.

Широкая шляпа его была смята и сидела на нем боком, глаза его блестели, и он всем улыбался. И все улыбались ему, так как все были также пьяны от счастья и радости.

На Казанской площади говорил какой-то оратор.

Иван узнал Прохорова. Он махнул ему шляпой и крикнул:

– Не жалей, товарищ, патронов!

Тот улыбнулся в ответ.

А вот и университет!

Нева ли выступила из своих берегов?

Перед университетом колыхалась живая

река.

Здесь собралась вся учащаяся молодежь и сознательные рабочие.

У каждого в петлице алела красная лента, и над толпой алые знамена, десятки знамен.

С балкона говорили ораторы.

Иван пробрался на балкон и также бросил в толпу несколько слов.

Он находил, что победа, вырванная из лап реакционеров с таким трудом и со столькими жертвами, не должна туманить головы и что народ должен сражаться дальше и дальше... Он говорил о необходимости немедленной амнистии всем борцам, которым мы обязаны свободой...

Толпа двинулась с пением и со знаменами к Невскому.

Иван вместе с Наташей, Чижевичем, Семеновым и Прохоровым открыли шествие.

У каждого в руках алело знамя с надписью-требованием:

«Долой милитаризм!»

«Долой бюрократию!»

«Долой произвол!»

На знамени Ивана Федоровича было вы-

шито рукой Наташи:

«Да здравствует социализм!»

Первые ряды пели «Марсельезу».

Торжественно звучали слова:

*Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!*

А в следующих рядах пели:

*Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь – тяжелый
труд...*

И сейчас же это рыдание сменялось гроз-
НЫМ:

*Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд!..*

Возле Александровского сада Иван остано-
вился, замахал рукой и крикнул:

– Армия, стой!

– Армия, стой! – прокатилось в толпе.

Все остановились и замерли.

– Здесь была пролита кровь наших бра-
тьев! – крикнул Иван и прибавил: – Вечная
память, товарищи!

– Вечная память! – затянула Наташа, и тол-

па, как один человек, поддержала ее.

Почтив память мучеников-товарищей, армия свернула на Невский и потекла.

Армия двигалась все вперед и вперед, вызвала всеобщее сочувствие. Из окон домов навстречу ей неслись аплодисменты, ей дарили улыбки, махали в знак сочувствия красными платками...

У собора навстречу им показалась кучка с белыми флагами.

Впереди шел какой-то плюгавый субъект в рыжем пальто, с сизым, лоснящимся, как копченый сиг, носом, с грязноватой бородкой и широким чубом, скошенным набок.

Рядом с ним выступал другой субъект в пальто, в галошах, кашне и с зонтиком, висевшим на изгибе правой руки.

За ними шла разношерстная толпа, в которой мелькал то белый передник мясника или зеленщика, то пестрый галстук приказчика, то красный околыш отставного чиновника.

Второй субъект высоко благословил свое воинство образком и внушительно изрек:

– Бей студентов!..

Все завертелось. Белые и тезоименитые

флаги переплетались с красными, с обеих сторон раздавались крики.

Он помнил только, что субъект с жирным, сизым носом побежал, а за ним остальные...

Часть армии потом пошла освобождать из тюрьмы товарищей, а часть, во главе с Иваном, свернула в соседнюю улицу.

Они шли... шли...

Не доходя Гороховой, они неожиданно увидели перед собой пехотинцев с ружьями, выстроенных в два ряда.

Толпа всколыхнулась.

Задние ряды отпрянули назад, а передние, не обращая внимания на солдат, со знаменами и пением свернули на Гороховую.

Оратор-юноша взлез на фонарь.

– Куда вы?! Стойте, не бойтесь! – крикнул Иван сильно таявшим задним рядам.

Он повернул голову к солдатам и офицеру, словно желая спросить их:

«Не так ли, не надо бояться?! Ведь вы не будете стрелять?!»

«Да, да! Понятно!» – читалось на их спокойных лицах.

Они стояли, не шевелясь, точно все то, что

происходило впереди, не интересовало их.

– Вот видите! Они и не думают трогать нас! – крикнул снова Иван. – Товарищи!

Толпа, искоса поглядывая на солдат, стала собираться вокруг оратора.

Вдруг послышалась какая-то дробь.

Оратор внезапно смолк, картуз вывалился из его рук, он опустил голову и медленно стал скользить по столбу фонаря вниз.

Несколько человек бросились к нему. Иван также бросился.

Он увидал на лице кровь... горячую, липкую...

Теперь он понял, что означала эта дробь.

«Будьте прокляты!» – хотел крикнуть он этой серой линии с наведенными на толпу ружьями.

Но что-то вдруг обожгло его. Он упал вперед и пополз, как червяк...

VI

Иван, открыв глаза, изумился.

Его окружала чужая обстановка.

Он находился в роскошном кабинете.

Как в тумане, он видел широчайший письменный стол, заваленный бумагами, портрет какого-то видного мужчины в черной раме, три больших светлых окна, библиотеку, бюст не то Тургенева, не то Герцена, тяжелые драпри и близко, очень близко чье-то лицо.

Лицо это улыбалось ему, и он силился припомнить, кто так улыбается.

Но вот лицо это вдруг наклонилось над ним, коснулось его щетинистой щеки своими мягкими светлыми волосами и спросило:

– Ну, как чувствуете себя?

– Ах!.. Наташа!

Он хотел приподняться на постели, схватить ее руку и прижать ее крепко к своей груди, но что-то помешало ему.

Какая-то тяжесть оттягивала его спину. Он точно пришит был к постели.

Наташа нагнулась к нему еще ниже и ласково проговорила:

– Не надо шевелиться. Будьте спокойны.

– Где я? Что со мною? – спросил он, почувствовав вдруг ноющую боль во всем теле.

Он видел теперь Наташу совсем как в тумане.

– Ранен?

– Да. Но не беспокойтесь. Рана не опасна...

Иван Федорович сощурил глаза и стал мучительно припоминать что-то.

Он совершенно забыл теперь про Наташу и окружающую его обстановку.

Но он не мог припомнить ничего цельного и стройного.

В отяжелевшем мозгу его вертелись какие-то обрывки.

То он видел какого-то человека, взбирающегося на фонарь.

Вот он взобрался, снял с головы котелок, взмахнул им и стал говорить что-то толпе.

Что он говорит?

– Товарищи! Товарищи!..

Человек этот потом исчез, и на его месте появился Прохоров.

Чудак! Сидя на продырявленном диване, он нажаривал «Барыню».

И дальше!..

Дальше... Мрак. Из мрака этого, как из бездны, высовывались кровавые языки.

Все теперь в голове у Ивана окончательно спуталось, перемешалось, и он от досады чуть не заплакал, как ребенок.

Вдруг до него донесся чей-то голос:

– Иван!

Он вздрогнул и увидал опять Наташу.

– Вам пора принять опять лекарство.

Она отлила из синеватой бутылки в массивную серебряную ложку какой-то жидкости и поднесла ему.

Он покорно втянул ее пылающими губами и почувствовал необыкновенную легкость.

Голова посвежела, и память вернулась к нему.

– Вам больно? – спросила она.

– Да... Тут, – простонал он тихо и указал на грудь. – Что же это такое?! Опять ложь, провокация?

Она утрюмо молчала.

Он горько усмехнулся и сказал:

– Мало ли что!.. Сегодня свобода, а завтра – пожалуйста ручку – и в участок... Знаете, как у

нас...

Он повернулся к стене и глухо зарыдал...